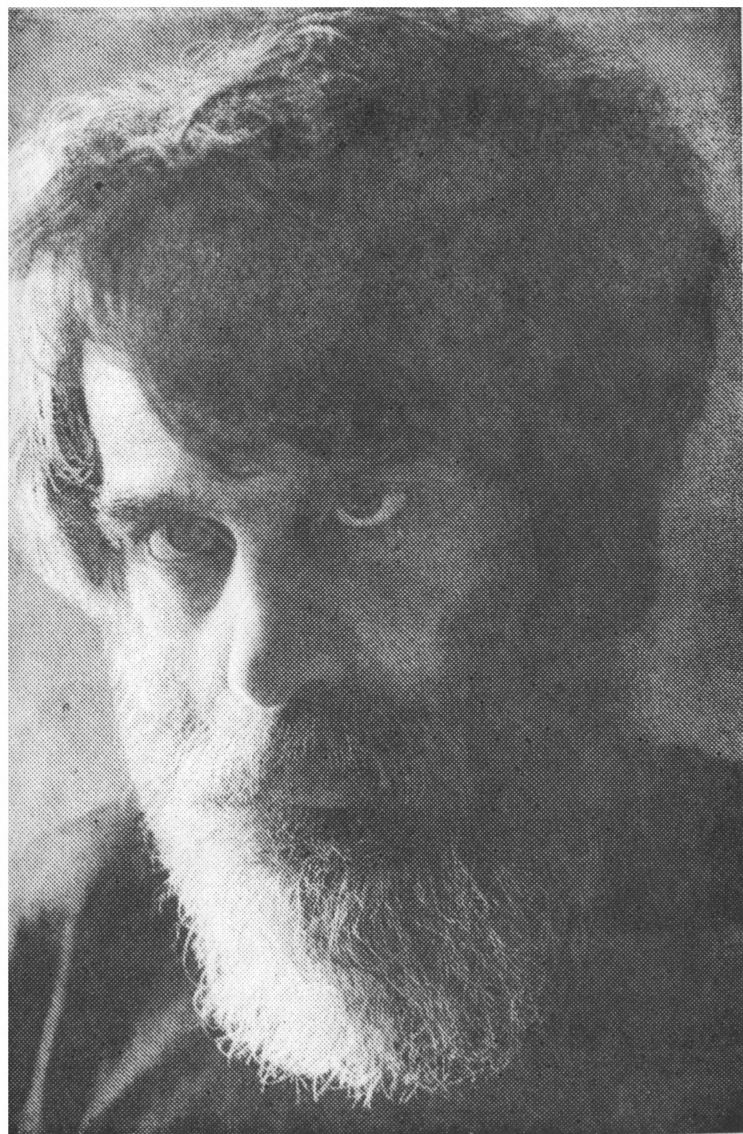
ВИКТОР КРИВУЛИН

Обращение





ВИКТОР
КРИВУЛИН

Обращение

Стихотворения



Советский писатель
Ленинградское отделение
1990

ББК 84.Р7
К 82

Художник Валерий Мишин

К $\frac{4702010202-380}{083(02)-90}$ 220—90

ISBN 5-265-01283-4

Стихи Виктора Кривулина, объединенные под неброским и несколько отвлеченным титулом «Обращение», вряд ли поразят воображение искушенного любителя поэзии яркими метафорами, неожиданными сюжетными ходами, экстравагантными сравнениями, ритмическими или словесными изысками. И все же в этих стихах есть нечто непривычное, странное. Достаточно просто раскрыть книжку — и самый внешний вид стихов, особая графика, отсутствие больших букв после точки, а главное — какой-то (если можно так выразиться) *пунктуационный аскетизм*, проявляющийся почти в полном отсутствии знаков препинания, которые стоят лишь там, где необходимы, чтобы избежать двусмысленного прочтения, — все это остановит внимание читателя и кое-кого, может быть, заставит недоумевать.

Беглого взгляда будет достаточно, чтобы понять, что перед читателем *трудные стихи*. Действительно, путь к смыслу стихов В. Кривулина затруднен барочной, чуть ли не нарочитой осложненностью синтаксиса, многочисленными историко-культурными аллюзиями, явными и скрытыми цитатами. Эти стихи легко упрекнуть во вторичности — и лишь пристальное, внимательное их прочтение откроет то, что не броса-

ется в глаза: насыщенный и сложный эмоциональный мир автора, стремление проникнуть в тайны внутренней жизни родного языка, с помощью которого мы осознаем себя в этом мире.

Когда-то, в середине двадцатых годов, Ю. Н. Тынянов писал о том, что работа Осипа Мандельштама с поэтическим языком — это почти что работа иностранца в том смысле, что поэтический язык перестает быть для поэта только орудием, средством выражения мысли или чувства, но сам становится предметом размышления и чувствования.

Слова Тынянова могут быть отнесены и к поэзии В. Кривулина, с той только разницей, что за шестьдесят пять лет в самом языке произошли необратимые изменения, и для того, чтобы их обнаружить, необходимы новые, принципиально иные способы построения поэтической речи, нежели те, с которыми мы уже свыклись, читая и перечитывая Блока, Хлебникова, Мандельштама.

Я не берусь утверждать, что человеческая и поэтическая позиция В. Кривулина, которая может быть обозначена как стремление выявить истоки двоемыслия через доведенный до абсурда язык, и есть именно то откровение, какого мы ждем сейчас от поэзии. Но в любом случае работа этого поэта, до сих пор скрытая от глаз широкого читателя, заслуживает внимания, и внимания пристального.

В. Шалыт

* * *

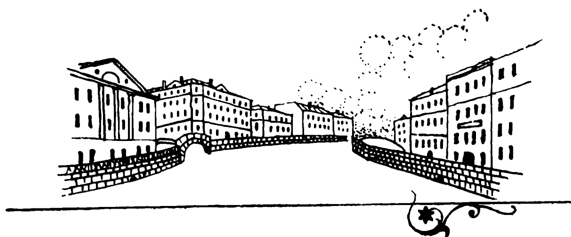
*поэт напишет о Поэте
художник представляет нам
Себя — в малиновом берете
распахнутого зеркалам*

*от легкости с какой Он дышит
от грации с какой парит
я съежился я желт я высох
я отдал кровь — а Он царит!*

*тону в любующемся взгляде:
я — это Он я — это свет
но резкий, падающий сзади
в затылок бьющий или вслед*

*В лучах Его второй природы
я только тень я только вход
туда где зеркало у входа
где женщина смывая годы*

ладонь по зеркалу ведет



I

ОБРАЩЕНИЕ К НЕСОХРАНИВШЕМУСЯ РИСУНКУ

Кленовая аллея

блаженна рассеянность в бывшем саду
    и слабая память блаженна
оно и прекрасно что все постепенно
    исходит как пар изо рта
и те кого ждал я — их больше не жду
и те кого помню — они сокровенны
как скрыт механизм крепостного моста
под скользкой брусчаткой под именем Бренны

и мост не подымется больше и мест
    какие казались людьми
здесь больше не встречу ... и душу возьми
    о сад одинокий мой крест
когда бы собрание просто дерев
    неловкие груды камней —
все было бы легче и небо светлей —
    а не отворившийся зев
где туч не усмотришь не то чтобы звезд
    или Елисейских полей

Обращение

все обращения в стихах текут как дымы
сквозь темные дома и скверы и мосты...
и то безлицее то тютчевское «Ты» —
не женщина не друг но слушатель незримый
одно живое Ухо пустоты

о чем — неважно — говорить... но говоренье
стихов лишь к Одному обращено
Кто сердце есть вещей и око и окно
Кто словно зеркало свободен в проявленье —
Он и дыханье примет как пятно

Остров Голодай

народ ослышался: прохладный ХОЛИДЭЙ
стал мерзлым Голодаем-Декабристов...
там кладбище Смоленское, так близко
его кресты сквозь скрещенных ветвей

похоже я смотрю не с берега другого
реки Смоленки и погост —
еще не сей пустырь но есть пустынный мост
откуда смотришь вниз на отраженья звезд
от неба черного пустого

там кладбище Смоленское — смола
с мольбою перемешанного праха
что загустел во времени однако
еще и нынче плоть его тепла

похоже и в земле дыханье сохраняет
свое животное тепло

и тот сырой туман каким заволокло
стекло истории (пустынное стекло) —
он и студит и согревает

* * *

есть пешехода с тенью состязанье —
то за спиной она то вырвется вперед...
петляющей дороги поворот
и теплой пыли осязанье

так теплится любовь между двоих:
один лишь тень лишь тень у ног другого
смешался с пылью полдня полевого
в траве пылающей затих

но медленно к закату наклонится
полурасплавленное солнце у виска
как темная прохладная река
тень *удлиняясь* шевелится

она течет за дальние холмы
коснувшись горизонта легким краем...
и мы уже друг друга не узнаем
неразделимы с наступленьем тьмы

Сближение

Свидетели смерти Андрея Белого рассказывали о том, как в последние минуты жизни поэт явственно ощущал: стоит ему вытянуть руки — и он коснется пальцами Кавказских гор.

и никогда отраженью не слиться с лицом!
и никогда не прорвать эту пленку
нервической ткани...
шапку об землю! и к зеркалу задом —
и дело с концом
все мы товарищи здесь потому что к земле
вертикальны

кружкой меня обнесут круговой или тост
вспыхнет Кавказом осыплется звездами
в море —
но никогда не коснуться гортанного неба
ни звезд
не дотянуться рукой до кавказских
предгорий!

к Белому разве Андрею — когда помирал
в кривоколенных своих переулках Арбата —
горный придвинулся кряж возле губ разверзся
Дарьял
дрогнул под пальцами глетчер двойной
Арарата...

словно еще не построен (еще только брезжит
в уме
умершего архитектора) — зыблется в желтом
канале
шестиколенный ребенок дитя щегольства
и печали
каменнолицее чадо в зеленой зачатое тьме

и наклонясь над водой и вплетаясь
в орнамент перил
частью чугунной решетки внизу обретаясь —
вижу как некогда зодчий стоял и дробясь
и шатаясь
над повторением зданья которое сам повторил

взявши за образец особняк италийского
князя
виденный смутно в покинутом детстве на дне...
всё — отражения, Боже! и всё отражаясь
во мне
так же относится к жизни как цепи-гирлянды
на вазе

гипсовой — к розам живым к розам какие
стоят
на подоконнике дома в незримом стакане
в подозреваемом только стекле, среди брызг
и мельканья
стекол пронзающих зыбкий фасад

Никольский собор

две сдвоенных колонны
Никольского собора
отнял фонарь у мглы...
мой Дом бело-зеленый
тебя все меньше скоро
ты станешь каплей света
на острие иглы

душа уйдет одета
в свое ночное бденье
опущенных ресниц
как будто вправду где-то
высоких свеч движенье
теней косые крылья
на желтых пятнах лиц

в бессмысленном усилье
пошевелиться — эдак
бывает лишь во сне —
лежал я смертной пылью
скопленьем черных веток
душа во тьму клонилась
но было тихо мне

и все — что прежде снилось —
текло в провал бездонный
глухого ноября...
всего-то сохранилось
две сдвоенных колонны
при свете фонаря

Летописец

от Сотворенья Мира скудных лет
шесть тысяч с хвостиком... итак хвостато
Время
как пес незримый ходит между всеми
шесть тысяч лет — как дьяволово семя
взошло тысячелистником на свет

и наблюдая древнюю игру
малейшего худого язычка
чадящей плошки — с Тьмою чьи войска
пришли со всех сторон свалились с потолка
прокрались тенью к белому перу, —

запишет летописец в этот год
(обильный ведьмами, пожарами и мором)
желанное пророчество о скором
конце вселенной... трижды крикнет ворон...
запишет: «Господи!..» — и счастливый умрет

шесть тысяч кирпичей связав таким
раствором
что крыса времени (творение ничье)
источит до крови пещерное зубьё
кромсая стены — инобытиё
примет глина ставшая СОБОРОМ

где в основанье — восковой старик
истаявший как свечка в добром деле
как свечка утром видимая еле
как бы внимательно на пламя ни смотрели
глаза каким рассвет молочный дым дарит

Кассандра

в бронзовом зеркале дурочка тихая дура
видит лицо свое смутным и неразрешимым...
палец во рту или брови сведенные хмуро
тише мол ежели в царстве живете мышином

в даль бессловесную Греции с красным
отливом
с медною зеленью моря уставилась
глухонемая
плачет душа ее всю пустоту обнимая
между зрачками и зеркалом — облачком
встала счастливым

прошлое с будущим связаны слабою тенью
еле заметным движеньем внутри золотистого
диска
да и мычанье пророчицы только снаружи
мученье
в ней же самой тишина — тишина
и свеченье...
море луны растворенной к лицу придвигается
близко

прошлое с будущим — словно лицо
с отраженьем
словно бы олово с медью сливаются
в бронзовом веке
в зеркале бронзы — не губы ль с больным
шевеленьем?
не от бессонницы ли эти красные веки?
или же отсвет пожара... не Троя кончается —
некий
будущий город с мильонным его населеньем

Клио

падали ниц и лизали горячую пыль
шло побежденных мычало дерюжное стадо
шли победители крупными каплями града
горные выли потоки ревела душа водопада
ведьма истории потная шея костыль

Клио! к тебе побелевшей от пыли и соли
Клио! с клюкой над грохочущим морем
колес —
шли победители жирного быта обоз
шла побежденная тысяченожка и рос
горьких ветров одинокий цветок среди поля

Клио с цветком голубая старуха долин
Клио с цевницей и Клио в лохмотьях тумана
словно лоза бузины шевелится бессвязно
и пьяно
всех отходящих целуя — войска и народы
и страны —
в серные пропасти глаз или в сердце
ослепшее глин

Песочные часы

то скученность то скука — все тоска
что в одиночестве что в толпах — все едино
и если выпал звук изменится ль картина
не мира даже — нашего мирка?

и если ты ушел Бог ведает в какую
хотя бы сторону — не то чтобы страну —
кто вспомнит о тебе так бережно тоскуя
как берег — по морскому дну?

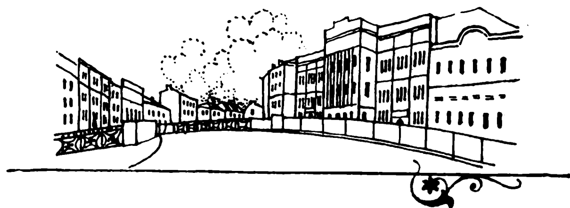
обитый пробкой Пруст мне вспомнился
намедни
искатель Эха в области пустот
последний рыцарь памяти последней —
резиновый фонарь он опустил под лед

подумать как черно и холодно куда
ни обратишь разбухнувшие очи!
чем движется песок в часах подводной ночи —
одной ли тьмой? одним ли хрустом льда?

что стоит человек во прахе путешествий
пересыпаемый сквозь горловину сна —
не горсточки ль песка зачерпнутой со дна
залива обнажившегося в детстве?

что стоит человек — течению времен
тончайшая струящаяся мера?
согрета ли в руках запаянная сфера
где памяти источник заключен?

и если так тепла — чьи пальцы согревали?
чьих — мутный оттиск на стекле?
об этом помнил кто-то но едва ли
я вспомню кто и как бы ни назвали —
все именем чужим все в спину все вослед



II

На крыше

из брошенных кто-то из бывших
не избран и даже не зван
живет потихоньку на крышах
с любовью к высоким словам

невидим живет и неслышим
но как дуновенье одно...
не им ли мы только и дышим
когда растворяем окно?

он воздух всегда безымянный
бездомный всегда и пустой
бумаги сырой и тумана
давно забродивший настой

как зябко. не выпить ли?.. бродит
по комнате. листья скрипят
неужто же и на свободе
душе не живется? назад

назад ее тянет в людскую
в холодного быта петлю...
неужто я так затоскую
что брошенный дом возлюблю

по выходе в небо? кому-то
под крышей послышится хрип —
повешенная минута
раскачивается растворив

багровый свой рот и огромный...
и стукаются башмаки
о краешек рамы оконной —
то смертного сердца толчки

впустите же блудного сына
хотя бы в сообщество крыс
хотя бы в клочок паутины
что над абажуром повис!

хотя бы вся жизнь оказалась
судорогой одной
предсмертной — но только не хаос
вселенной от нас остальной!

но только не лунная мука
на площади белой дотла
где ни человека ни звука
ни даже намека что где-то
душа по-иному жила
чем соринкой на скатерти света

Гобелены

Иное слово, и цветные стекла,
чужие розы витражей...
На гобеленах времени поблекла
гирлянда бледная длинноволосых фей.

Засох венок. Но были бы живыми —
все не жили бы здесь,
где платьев синий пар в серо-зеленом дыме
неразличим — уходит с ветром весь...

Музейных инструментов мусикии
волноподобные тела
звучали бы для нас, как мертвые куски
когда-то цельного поющего стекла...

Как хорошо, что мир уходит в память,
но возвращается во сне
преображенным — с побелевшими губами
и голосом, подобным тишине.

Как хорошо, как тихо и просторно
частицей медленной волны
существовать не здесь — но в море
иллюзорном,
каким, живые, мы, окружены.

Когда фабричных труб горюют кипарисы,
в зеленых лужицах виясь,—
весь город облаков, разросшийся и сизый,
вот остров мой, и родина, и власть.

И связь моя чем призрачней, тем крепче,
чем протяженней, тем сильней...

К тому клонится слух, что еле слышно
шепчет, —
к молчанию времен, каналов и камней.

К тому клонится дух, чьи выцветшие нити
связуют паутиной голубой
и трепет бабочки, и механизм событий,
войну и лютню, ветер и гобой.

Так бесконечно жизнь подобна коридору,
где шторы темные шпалер
как бы скрывают мир, необходимый взору...
Да что за окнами! Простенок ли? Барьер?

Лишь приблизительные бледные созданья,
колеблемые воздухом своим,
по стенам движутся — лишь мука ожиданья
разлуку с нами скрашивает им.

Так бесконечно жизнь подобна перемене
застывших туч или холмов,
длинноволосых фей, упавших на колени
над кубиками черствыми домов...

Так хорошо, что радость узнаванья
тоску утраты оживит,
что невозвратный свет любви и любованья
когда не существует — предстоит.

Неопалимая купина

художник слеп. сорокадневный пост
сплетен как тень висячего моста
из черных водорослей и шершавых звезд...
он сорок дней не разомкнет уста

пока пустой реки не перейдет
по досточке колеблемой пока
босой подошвой не оставит след
на зыбкой памяти прибрежного песка —
тогда и в нем прозреет память. лет
на тысячу назад он обращает взор
и перед ним неопалимый куст
и образ храма светел как костер
средь бела дня. но храм пока что пуст.

краски пожухнут. обвалятся лики святых
что остается? — свободных гиматиев складки
стол да кувшин да внезапное пламя
в кустах —
словно бы кто промелькнул одинокий
и краткий

не уследят за движеньем зрачки
чудится ль что с непривычки?
сослепу?.. шурк зажигаемой спички
боль обожженной руки

два времени войдут в единый миг
соединяясь огненным мостом
живого языка сожженных книг
или собора с убранным крестом —
два времени и сорок сороков
любивших братьев плачущих сестер...
нет вера никогда в России не была
мгновеньем настоящим — но раствор
на миг скрепивший два небытия
где сам художник — цепкий материал —
распластан по стенам распаду предстоя
(ведь сорок дней он губ не растворял)...

...и говорили Бог знает о чем и кому
лишь бы наполнить собою пустые объемы

не полутьма нас пугала но видимый сквозь
полутьму
остров — кусок штукатурки остаток
от росписей храма

там языками эфирными смол
куст обращался к пророку
стертому временем падшему в реку
что обтекает Шеол

Натюрморт с головкой чеснока

Стены увешаны связками. смотрит сушеный
чеснок
с мудростью старческой. белым шуршит
облаченьем —
словно в собранье архонтов судилище
над книгочеем:
шелест на свитках значков с потаенным
значеньем
стрекот письмен насекомых и кашель
и шарканье ног
тихие белые овощи зал заполняют собой
как шелестят их блокноты и губы слегка
шелушатся
в белом стою перед ними — но как бы
с толпою смешаться
юркнуть за чью-нибудь спину ведь нету
ни шанса
что оправдаюсь не лягу на стол натюрморта
слепой

Итак, постановка
абсолютную форму кувшину
гарантирует гипс. черствый хлеб

изогнув глянцевитую спину
бельмо чеснока бельевая веревка
сообща составляют картину
отрешенного мира но слеп
каждый кто прикасается взглядом
к холостяному окну

страшен суд над вещами
творимый художником — Садом!
тайно из-за спины загляну —
он пишет любви завещанье:
ты картонными кущами и овощами
воевала с распадом

но отвернемся читатель мой. ветер и шепот
сухой
в связках сушеный чеснок изъясняется
эллинской речью
в белом стою перед ними — и что им? за что
им отвечу?
да я прочел и я прожил непрочную чернь
человечью
и к серебристой легенде склонился словно бы
к пене морской
шелест по залу — я слышу — но это
не старость
так шелестит исчезая из лодки — ладони моей
пена давно пересохших ушедших под землю
морей...
мраморным облачком пара блуждающим
островом Парос
дух натюрморта скользит — оживает
и движется парус...
там не твоя ли спина убегающий смерти
Орфей?

и не оглянуться!

но и все кто касался когда-то
бутафорского хлеба кто пил
пустоту что кувшином объята —
все как черные губы сомкнутся
в молчанье художника-брата
недаром он так зачернил
дальний угол стола
жизнь отходит назад
дальше чем это можно представить!
но одежда Орфея бела
как чеснок. шелестя и листая
(между страницами памяти черствые
бабочки спят)
шелестя и листая
на судей он бельмы уставит
свой невидящий взгляд...

* * *

что увижу — все белое
будто слабая марля наброшена
для того и зима — только отбел иной белизны
что ни отпил от жизни — все ясная целая
в социальном ничтожестве в подлинной муке
прохожего
разве мы до последнего доведены?

да и смерть не окончена
для умершего свет продолжается:
слой за слоем белила ему на зрачки
аккуратная кисточка жестом наносит
отточенным
но с чужим выражением жалости —
молодая такая старушка ребенок почти...

* * *

пучки травы и выцветшие стебли
украсили (мы скажем: засорили)
углы каморки. дурочка живет
вставая затемно угрюмый чай затеплит
хлеб накрошит или крупы рассыплет
на жестяном карнизе. птичьей силе
не выйти из нее на свет

чуть засветлеет вся куда-то вышла
и только из-за двери — пряный вереск
да на клеенке ржавый круг
от чайника. но ничего не слышно
о ней самой. мука и масло душно
шипят на кухне. жарят изуверясь
Господней рыбины плавник

но за полночь проснется новый запах
звенят ключи. на цыпочках под шелест
выскальзывающих из рук
еще живых цветов... ее спортивных тапок
ползут следы сырые от росы
и острый лист мою щекочет шею
и слышу резкий вскрик

Нимфа речи

о нищета — где ни ищите —
ни слова: с бедным словарем
ты более всего нуждаешься в защите —
ты воплотившаяся в женщину вдвоем
с возлюбленным который пережил
твою любовь. ты ужас быть одной

песчинкой утеканьем сил
ты сон о море с той голубизной
какая невозможна не во сне —
произношенья влажная подошва
когда ступить на землю невозможно
ни жалобу излить вовне!

как женственна стихия речевая!
наплывы рук и жесту обречен
язык сочувствия и врачеванья
язык владеющий врачом
об чем ни заикнись — уже мертво
о нищете о нише о пробеле
твердит само отсутствие. разделим
незащищенной жизни вещество
на всех несуществующих — на них
исчерпанных двумя-тремя словами
кому давно не до картин и книг
в ячеистых стенах существованья

Сон Иакова

две темы: возвращенья и ухода
две темные картины
где глиняные движутся кувшины
вокруг источника до сердцевины
расколотого. и одна свобода —

уйти и возвратиться
и ангел над источником крыло
неловко поднял. ангел а не птица
не человек — но ангел отразится
в потоке темном тихо и светло

ты светел? о скажи ты светел? две картины
зеркально симметричные друг другу
Иаков спит уйдя подобно плугу
до половины в почву. и по кругу
гончарному движенье смертной глины

вращение аморфной вязкой массы
под любящими пальцами Творца
творится в теле спящего. гримаса
расколотой скалы. и ангел златовласый
над сладостным источником лица

Ла Тур

казалось хаосом. я ненавижу толпы
но больше человеческого есть
в любом лице. в озлобленном «пошел ты!»
стоит растерянность как если бы не здесь
но за границей неподвижной сферы
движение еще возможно. здесь же —
на желтой грязно-желтой желто-серой
на улице у скважины проезжей
мы замерли мертвей скульптур
но и прекрасней
эффект свечи которому Ла Тур
полжизни посвятил. полжизни — и не гаснет
на улице. казалось хаос. нет!
любая рожа в замысле сводима
к чертам архангела и лику серафима
но помещенное в неровный желтый свет
искажено изображенье
свеча у зеркала. и силой обоженья
из глубины из темноты согрет
любой — он восковой теперь — предмет
он больше чем горяч. он — сердцевина
жженья

Приближение лица

изборожденное нежнейшими когтьми
лицо приблизила. — старуха!
кто именем зацеплен меж людьми

имеет преимущество для слуха
и зрения. учебники имен
звучат наполненно и глухо

как будто говорящий помещен
в пивную бочку и оттуда
вещает окончание времен

под обручем тучнеющее чудо
мой слух наполнен будущим вином
мой ветхий слух насколько можно чуток —

все имена сошлись. и в семени одном
уже бушует лес уже мертвеет осень
но разве мы в истории живем —

мы, лишь местоименье при вопросе,
живем ли вообще? она сама
как поле в бороздах засеянное озимь

приблизилась. нагрянула зима
истории. о старчество ребенка
на льду реки фламандского письма!

он безымянней дерева. так тонко
его сознанье с небом сплетено
что рвется и скрежещет кинопленка

цепляясь за историю кино —
цитируя когтя и возвратясь к истоку
находит камеру входящую в окно

находит позу нужную пророку
в его профессии предречь
фронтальный поворот к Востоку

он безымян. его живая речь
окружена зимою. словно бочка
он полон речью внутреннею: лечь

лицом в сугроб (я только оболочка
для жара тайного!) и слушать как шипит
как тает снег потеплевает почва

но встал, отснят. переменился вид
с такой поспешностью что не осталось веры
что ни сказал бы — как не говорит

горящий куст (на горизонте серой
равнины речи) как бы ни пылал —
ничто не превышает меры

не прибавляет Имени к телам!
ничто не имя и никто не и́мет
и я — от «мы» разбитых пополам

осколок мыслящий. когда она придвинет
лицо исполосована когтьми
что мы? — я спрашиваю — что сегодня
с ними?

все историческое — вот оно — сними!
живущие вне ряда и вне рода
одной любовью — кажутся детьми

и третьего не достигают года

Яблоневый сад. Полдень.

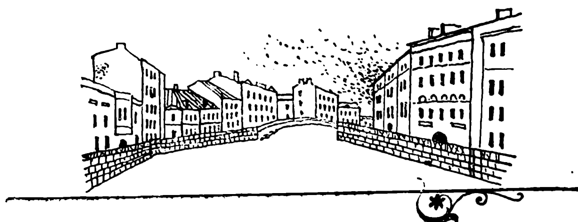
тень беллетристики на всем
цветная. этим полднем
сквозь духоту не узнаем
между беленых яблонь дом
а говорили: помним

здесь обаянье чистый мед
и сила солнцепека
заменит все что не поймет
душа рожденная на гнет
и погребенная глубоко

в заботах тела и жилья
ее духовное все дальше
все больше прошлое — сама ли не своя
она прошла из душного пия
источника истории и фальши

лиловый зной. и чтение — из тех
окон или спасающих отдушин
где человек не сам но яблоневый сад
но двухэтажный дом исполненный гостей...
а сам себе уже никто не нужен

так возвращается толпа восставших слуг
на место разоренного именья
почти в раскаянье. но сделано. вокруг
все перепорчено лишь уцелел сундук
с остатками бумаг пригодными для чтенья...
и пекло не смягчаемое тенью!



III

ДНИ И ДЕТИ

Дни и дети

Дни и дети
женщина и ночи
и ни единой живой души
на ядовитом январском рассвете

на рассвете после рождественской литургии
одинокий трамвай подгребает
к возлецерковным березам
остановился — дальше поплыл

трамвай до отказа набитый старухами
тишиною невероятной
чистым полем

чистым — без единой отметины пола
без горячей ладони на рту
женщины (чтобы ребенок

не пробудился от крика
рвущегося оттуда
где завязывается жизнь)

Адам и Ева

Тетраптих

1. ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА (АДАМ)

мелким бесом завилась дорога
не летит — петляет символическая Тройка
пыль белым-бела и даль полога
— Слушай дядя придержи постой-ка!

седока мутит... возница в богатырке
подмигнул поворотясь ощерился присвистнул:
— На глазастых на живых колесах как бы
в цирке
наш ли цезарь переходит Вислу

или ихний островерхий кайзер
катит гаубицы вопреки движенью солнца
вперекор истории? — не все ль едино! кайся
кайся паныч! ничего не остается...

видишь пыль последней лошадиной битвы
перед гибелью лихой не легче ль пыли
барские твои грехи? и детский пар молитвы
пар идет к Престолу — чтобы нас простили

здесь — мешаются орудья люди кони
там — начальство крепкое тройное
Голубь генерал святой духонин
среди свиты в окружении конвоя

сабля наголо́ привстав на стременах
Жертвенного Первенца встречает
сердце Мира сердце вырвано в сердцах
но краснознаменный орден полыхает
и улыбка белозубая в усах

2. НА ПАРАДЕ (ЕВА)

с тех пор как техникой сменился дробный
грохот —
не цоканье копыт но ровный гул
царит над площадью где Вечный Караул
и где не взвизгнет не завьется в хохот
слезу не пустит кружевную
девица свежая (домашнее растенье)
не вырвется она прорвавши оцепленье
обвить в экстазе дулю броневую

теперь толпа напрасно ждет своей
красивой радости — в буденовке в плюмаже
не прогарцует моложавый Царь Зверей
и юные кентавры наши
не въедут в сердце женское рысцой
ИДУТ МОТОРИЗОВАННЫЕ СИЛЫ
осьмиколесные консервные могилы
что медлишь Ева? яблочко с гнильцой?

3. КОГДА-ТО В ГОЛЛАНДИИ (ЕВА-МАРИЯ)

Бог милостив меня коснулась милость
какие солнечные дни!
вошла служанка: что-нибудь случилось?
вы звали? — на голубушка взгляни
письмо из Индии ах да читаешь по складам...
так вот: письмо из Индии Он пишет
вернусь в июле деньги льнут к деньгам
Я — памятью к тебе и черепичной крыше
патент купил — теперь Он лейтенант
в Его распоряженье восемь пушек
представь мундир! и перевязь! и бант!
и офицерский шарф! и тьма других игрушек
я счастлива ты знаешь я ревную

Его — к его одежде к наглой ткани
что ластится к Нему и кожу неземную
бесстыже гладя у меня ворует
легчайшее тепло моих касаний
вернется офицером! нет подумай
сюда войдет как ливнем золотым
осыпанный... смешаюсь, дура дурой
Его не вижу — Океан за Ним
какие запахи! моската парусины
тропических цветов и темных потных тел
благословен Господь во образе мужчины
являющийся нам!
ты слушаешь? задел
меня крылом не голубок почтовый —
но целый мир необъяснимый новый
не ведающий где его предел!

4. ВОЙНА В ГОРАХ (НОВЫЙ АДАМ)

Не ходят письма и война в горах
(он говорил когда пустили в отпуск)
занятие пустое так рутина

безвылазно в казарме. вечный страх —
а вдруг дизентерия! всё опрыскать!
повсюду хлорка — видишь ли мужчины

народ неаккуратный. там дичаешь
за первую неделю а вторая
и сотая уже неразличимы

я до того дошел что дней не отличаю
где пятница? где воскресенье? рота!
построиться... какие развлеченья

случается придет приказ
об усиленье воспитательной работы
читаешь радуясь: пока что не про нас

в соседней части были два таджика
бежать пытались — их потом нашли
с глазами выколотыми орущих безъязыко

валяющихся как мешки в пыли...
там — самострел. там — лейтенант подстрелен
(есть подозренье кем-то из своих)

туземцев не видал. от всей природы
одна жара жара уже в апреле
и прелая вода — в любое время года

и прорва прочих радостей простых

1982

Аквариум

на пыльные зрачки слетает муха
как через радужное ломкое стекло
мелькает мир отрезанный от слуха —
аквариум где время протекло
никак не вырваться из прошлого столетья!
что ни рывок — то новый террорист
с унылой бомбой с одинокой сетью
квартир подпольных преданных девиц
со старостью почти благоразумной...

когда бы не спасительный склероз —
он удавился бы на лестнице бесшумной
залез бы в бак помойный и пророс

ты нищенская рожь обмолвка зренья
ты мира нового ходячая тюрьма
войди сюда — в иное измеренье
в стеклянный ящик заднего ума
войди, ты изумишься: ты свободен!

на пыльном подоконнике скелет
с обломками прямоугольной плоти
стекла и сонной мухой на стекле
с клочком газеты солнцем на газете
равно читающим и пятна и слова —
и свет всеобщей грамотности светит
из недр гниющего повсюду вещества
и ты стоишь восхищен изумленьем

любой рывок из века — невпопад
мы — в девятнадцатом со всем
стихосложеньем
с мироустройством взятым напрокат!
не мной задуман выполненный мною
рисунок жизни: рыбы в тростниках
толкутся и стоят серебряной стеною
и Время среди них как рыбина сквозная
неотличима от сестер...

Сестры в зарослях

(столетье назад)

красный угол черепицы
среди зарослей Сезанна
чеховское чаепитье
на веранде — и вязанье
нудящего разговора:
как мы все-таки болтливы!

женщины они сильнее
в эту призрачную пору
превращения идеи
в тему в заросли крапивы
в доски дачного забора

женщины рабыни чтива
труженицы и творцы беседы
о годах восьмидесятых
об каком-то общем деле

сад погрязнувший в цитатах
красный угол черепицы
в синеве лесного цвета
голос нравственницы чтицы
шелест платья и страницы
шорох птицы и газеты

Сестры на полустанке Александрия

четыре сестры нас было
М. Кузмин

тишина ожидания и тишина когда
уже ничего не ждешь даже надежды
и самая тихая — третья

три — одинокие сестры —

и в детстве почти не играли
ходили на станцию к поезду
с вареной картошкой и солью
с черникой в газетных кульках

— господи александрия
за тысячи километров
отсюда за тысячи лет!

ходили через болото
мимо разрушенной мельницы
мимо ржавой поляны
трое тишайших сестер

Синий мост

где сиреневая мрела
перевернутой дугою
тень от Синего моста —
там совсем уже другое
состояние — и стоя
вижу новые места

не успеешь кончить фразу —
тень от синего моста
стала ржавой или рыжей
и такая духота
все охватывает сразу
что за маревом не вижу
дальше собственного глаза

дальше синего моста

Бумажные цветы в детстве

посмотришь — возвращенье на часах

слепой садовник вырезает розы
из розовой из папиросной
бумаги — и в роскошных волосах
страны-красавицы горит не увядая
и хрупкая и вечно молодая
конструкция на проволочном стебле

предпраздничные промыслы слепых
плывут оркестры в мокрых мостовых
мы покупали словно бы ослепли
бумажные цветы — и самый праздник цвел
как чудотворный канцелярский стол
распространяя запах клея...

но разве я о чем-то сожалею?..

На празднике народном

НАПРАСНО Я НА ПРАЗДНИКЕ
НАРОДНОМ
ищу мистериальный поворот
на красный свет или назад к животным
или в неведомый перёд

мне повезло в отличие от многих:
родители меня больного привезли
в столицу бывшую откуда всех безногих
неслышно вывезли на самый край земли

пустынны улицы. предчувствие Парада
звук не включен еще... кого-то молча бьют

возле моей парадной — и не надо
иных предутренних минут

я знаю что прошла — пережита блокада
мы счастливы — меня я чувствую возьмут
сегодня вечером туда к решетке Сада
где утоленье голода — Салют

Салют в детстве

не многорадостный праздник, зато
многолюдный
пороха слаще на площади передсалютной
темный пирог мирового огня —
и александровская четверня

детство мое освещали надзвездные гроздья
Зимний дворец озарялся и потусторонняя
гостья —
астра или хризантема — росла и росла
гасла — и все выгорало дотла

помню ли я толкотню и во тьме абсолютной
свое возвращение к вечности сиюминутной
пересеченье потоков тоску по минувшему
дню —
и александровскую четверню?

помню ли я разбеганье свистящих
подростков
хаос какой-то из шапок обрывков набросков
цепи курсантов морских
помню ли я? — или полубеспамятный скиф

вместо меня это видел и вместе со мною
забыл
черные руки отняв от чугунных перил...

Памяти романа

как наблюдателен был как памятлив был
и остер
тысячелицый роман и тысячеверстый
путь по мысленной карте где заозерный
костер
дрожал во тьме отражающей звезды

смотрели на пламя Автор и Главный герой
сук торчал из огня — и смола шипела
шипела смола — и под разговорной корой
разгоралось молчанье без отклика
без предела

и вот: я или кто-то третий дети лакун
словесных из ночи недоговоренной
следим затаясь как развивает болтун
тему огня и воды отделен пограничной зоной

от нас. или столько длинных озер
вдоль границы и в каждом озере — лотос...
это забвенье романа чей тысячеглотковый хор
тише лодки скользил. это берег скольженья
болото

с пушечными камышами и едкой травой...
а твои бесконечные сетования о прозе...
как попытка побега (пойманный и конвой
греются у костра единые в Бозе)

Радость в марте

радовались. — чему бы
а ну-ка скажи — чему?
хотя бы... когда размыкались губы
языковую ломая тюрьму

это было — освобождение тысяч
ошарашенных бритоголовых худых
даже не плакали. даже губами тычась
в чужие губы не ощущали их

горького привкуса (привкуса жóлчи
табачной)
это было — и никуда не исчез
мартовский праздник на краске чердачной
солнце блаженных очес!

радовались... но и по сю пору
вспомню как радовались — и живу
рот раскрывши к захлебывающемуся
разговору
прислушиваясь улыбаясь...

1983

Отступление

да и кто сейчас читает стихи!

из разговора

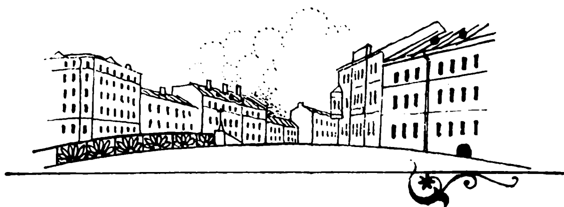
ты говоришь: «надежда и борьба...»
но что-то делается с горлом
и над сопротивленьем стихотворным
ревет ревет неслышная труба

играют правильное бегство
душа и без войны в развалинах лежит
через ее проломы — свет небесный
и рваный рвется дым и ветер ворошит

бумажную труху... «мы отступаем
слышал?..»
я слышу: изумрудный первый гром
по изумленным прокатился крышам

нас окружил обнял воздушный дом
огромным шепотом — а значит не умрем
или умрем от радости что выжил

и самый слабый среди нас



IV

БЕЗ НАЗВАНИЯ

Пиранези

по медной пластине по дымно-коричневой
тьме
гуляет со скрежетом коготь орлиный
гравер-итальянец полжизни курлыча
в тюрьме
царапая доску растит крепостные руины

эскарпы и рвы равелины сухой водопад
разрушенных лестниц и волчьи замшелые
своды
и как по камням неумолчно лопаты стучат
и что сумасшедший щебечет рассыпав
крупицы свободы

по выступу — выступу в нише окна
откуда не свет — истечение пыльного знака:
аршинная фраза на чадном листе полумрака
хотя поневоле но тысячу раз прочтена

железисто-слезным читанием точно слепую
молитву на воле звучащую всуе
ведут захвативши под руки. заводят

на зубчатый гребень а где оборвется стена
провалом сознания — заговорят о свободе:
«свободна. ступай». и в плечо — отпуская —
толчок.

шагнет — и восхи́щенный будущей Колымою
художник тюрьмы разрывая с телесной
тюрьмою
парит над веками — и счастлив еще дурачок

Реверсивный сонет

что было открыто — пора закрывать
осиновый кол над могилой Колумба
мы звездочкой сонной украсим

осталась березовая благодать
и профилакторий — звездчатая клумба
и больше ни Запад ни Юг не опасен

что было — давно перестало бывать
что явится — это из области басен
«Сейчас» — это вечность упавшая наземь
ничком на базальтовую кровать

послушай да ты человек или тумба?
я житель Земли занесенный в тетрадь
ее ученичества — и не прервать
старательный прочерк не выйти бесшумно

из класса где нас разучают читать.

Вся остальная природа

реки мосты остальная природа
от частого употребленья
стертая продранная на сгибах —
автофургон загруженный бумагой
с ревом протискивается в ворота
оледенелого стихотворенья

площади набережной и склады
сторожевая будка с поэтом
еле-еле рифмуется — связана слабой
связью. но рыжие псы на решетках
люков окутаны паром
прижимая впалое брюхо
к железным ребрам

ржавчина древних моторов
из-подо льда проступает как пятна
прошлогодней горелой травы
прошлая ржавчина — и стихотворная форма
речи беспомощна и необъятна
воет буксует раскачивается на рессорах
тупорылый трайлер октавы
прямо — ворота а слева и справа —

вся остальная природа

* * *

Для Гуманного горы и воды — одно.

Дао дэ цзин

снова горы и воды и горы как воды и воды
воздвигаются в перистый путь
возвышаются вдаль удаляются кверху
под своды
что замкнуты — не разомкнуть —
за чертой восприятья за черной границей
природы

снова чертишь почти бессознательно петли
Омеги
наброшенные на пустоту
где кустарник тоньшает на склонах теряясь
во снеге
где нить водопада застыв на лету
обрывается где-то в сознанье и в сердце —
и о человеке

ничего не известно: письмо сплетено из воды
а по залитой небом открытке
ползет оставляя следы
черепаха

* * *

4'33" (Джон Кейдж, диск «Сайленс»)

на диске — четыре минуты студийной
потрескивающей тишины
и шестидесятые годы слышны
как пауза из-за спины
в зигзагообразных разрывах холстины

мы были фигурами общей картины
краями одной композиции зыбкой
мы были частями — и счастьем
углы наполнялись как полуулыбкой
лицо выступающее из пелены

теряя портретное сходство
овальный разрыв превращается в эллипс
мы были краями провинцией были границей
дрожащей — мы были подполье и шелест
но если оглянешься — что за прекрасные
лица!

какая же в них тишина — тишина
и господство

Метаморфозы

ночь на часах лобачевского млечных
в духе взмывающего геометризма
преобразованные города
распухают затекая под линзу
с отсыревших крыльев заплечных
каплет на пол светящаяся вода

— в каждой лужице по звезде!
(шпалы синего света)
— где могила хлебникова? нигде
— где малевич бинтующий пустоту?

— где-то наверное где-то

———

— их будущее стало
областью ностальгии

лотосом буддообразным
в озере синей стали
— затененные облаками
лики озер духовных
высветляются изнутри
и над ними Сирин-Летатлин

с веткой хрустальной в клюве

Шестидесятник

лицо в оправе из волос
очков железная оправа —
и зренье слабое свелось
к железной хватке волкодава
и вцепится. и вырывая клок
из рясы шерстяного Мира
он устремляет в потолок
свои расширенные дыры
свою невидящую скорбь
свою вселенскую обиду —
в надежде лечь под микроскоп
раздаться и уйти из виду
от невооруженных глаз
туда где на стекле предметном
приближенными видят нас...
и что казалось незаметным —
оно Огромным делается вдруг
оно теряет зримые размеры
входя в Собор *естественных* наук
где верующий больше веры

Чтение по фарфору

возраст когда не читаешь но лишь
перечитываешь — а наслаждение тоньше
чем когда-то... и чем неподвижней стоишь —
тем богаче движенье вокруг тебя. с той же
детской щедростью взора пустившей
на слом
золотые сюжеты фамильных сервизов
лишь бы только скандал запылал за столом
(оскорбление. шутка. еще оскорбление. —
вызов
на дуэль... от сюжетов одни черепки...) —
с этой щедростью как расплатиться
взрослея?

появился утильщик. пустились его пауки
составлять по фрагментам и клеить
и клеить —
и в паучьих объятьях немея лежат
пастушки и пастушки фавнята и феи
европейские площади сломанный зуб
Колизея...
но вода не удержится в чашке приплывшей
назад
из небытия из музея...

ты уже не читаешь — ты делаешь вид
по странице глаза мои словно слепые
по рынку
спотыкаясь бредут. останавливаются. и стоит
(меди прочней превыше пирамид)
гул над ними

Сирень наяву и на пленке

смутны свежевымытые кисти
мокрые тяжелые сирени
взяты как бы начерно, в эскизе...
дача состоит из настроений
и прерывистой погоды
в Переделкине и в Комарове
доживает фетровые годы
лирика родной земли и крови

в резервацию усадебных мотивов
допускаются свободные слависты
разговор коснувшись кооперативов
достигает высоты заоблачного свиста...
— а вот и госпожа с малиновым вареньем
(сарафан из галереи Лафайета)!
этот? Пастернак... а возле, в кителе
военном —
узнаете?

НЕОКОНЧЕННОЕ ЛЕТО —

именно такой останется Россия
в памяти родных и посторонних
электричка вечер амнезия
что это? штакетник вре́менных построек
с ядовитыми вкрапленьями витражной
ярко-фиолетовой клетчатки?
или на природе умирать не страшно
в самую теплынь —
когда играя в прятки
с кабинетным полусветом
полутьма растений прущая снаружи
о существовании бесследном
узнает не обнаружив
своего Садовника и Господина?..

скоро въедут новые владельцы
включат видео — и оживет картина:
ДЕБРИ НОСТАЛЬГИЧЕСКОГО ДЕТСТВА
МОКРЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ СИРЕНИ
на японской пленке явственнее пятен
послесталинской лиловой светотени
за стеклом веранды
умерший писатель
это ли размытое цветенье
видел приподнявшись на кровати
и переходя в иное измеренье?

Были игры

как бы ни были игры суровы —
это игры всего лишь...
ударяешь ли слово о слово
или словом по слову проводишь —

получается только рисунок
на полях рукописных
состязанье ударных и струнных
двухпартийная музыка ныне и присно

и во веки веков не имевшая точек
общих с морем житейским...
проиграешь — увидишь: горячий источник
бьет из почвы сплошным Чернышевским

были игры вслепую с духовною жаждой
победителей нет — их не судят
лишь по кипени серной кораблик бумажный
и швыряет и крутит

Путем классической просодии

по обе стороны — родимый полусумрак
и гаснущая жалоба на всем
чего касается квадратным колесом
классический обоз четверостишья

попарно связанных спиною ко спине
косноязычных и безумных
везут любовников на влажной простыне
в простых рубахах длинноруких —

и обе стороны смыкаются в один
хребет небесный. просека. болото
и в облака нацеленное дышло
и хруст валежника и уханье осин.

увозят любящих в извилистую сонь
кренясь на гусеничных рябях
где оступается традиционный конь
и все опаснее строка съезжает набок

Вопрос и восклицание

«зачем?» зародыша — и старческого «нет!»
герметизованное эхо
я вижу смерть как шаровой портрет
как то что остается после смеха

она живейшая из нас
теплом и тлением дыша куда-то в спину
промеж лопаток выдышит рассказ
что потеряла — ищет сына

и с теплым воздухом согретым
ее дыханием — ты поднят над собой

к таким же легким звездам и планетам
к такой же лампочке полуслепой

— я свет пульсирующий рвущийся
неровный
оранжевая кожура
у монгольфьера над жаровней
в солярных символах и отсветах костра!

Голос из хора

немногие из голосов
я слышу — выпростан из хора
туманный стебель он осколок
весною взорванных лесов

немногое над головою —
размывка облака пустяк
на исторических путях
какое-нибудь Бологое

маячит. летописный свод —
скорей не купол но пригорок
внизу овраг а в разговорах
синица даже не совьет

гнезда. возможно ли скуднее
прожить — и молча перейти
в искусственную галерею
из неба и резной кости?

Из Галерей

Худ. Фрагонар (фр.) «Туалет Венеры»
Репродукция в женском общежитии
завода «Светлана»

световая ли солнечная река
не входила сюда — не касалась
репродукции выдранной из «Огонька»...
тайна изопродукции — жалость

к той руке что разглаживала углы
что унылую кнопку вгоняла
в общежитские стены — и стены светлы!
стало как бы красиво — почти человечески
стало

вырастает картина как мыльный пузырь:
бело-розовый банный оргазм Фрагонара
наполняет жилья холостую сибирь
облаками любовного пара

здесь ночуют и завтракают — но здесь
не живут... ожиданье сплошное:
завтра может быть завтра изменится весь
воздух сердца и мир за стеною

пережитое сжато в нелепый комок
или тайна спасенья — телесна?
оттого и не груб типографский намек
на блаженство постели воскресной

Из Галерей

«Фотография неизвестного подростка»
Живопись-обманка на жести, предназначенная
для рекламы фотоартели, ныне упраздненной
Плановый отдел ЖЭУ № 11

нищету ли не ища обрящем?
исчезает — но вернется снова:
было время только настоящим
зыбким состояньем без былого
все что было — было здесь не где-то
было время — воровали озираясь
от газеты жили до газеты
странно что живыми оставались

дровяные бесконечные сараи
пахли свежесодранной берестой
вот наверное секретный запах рая —
запах дерева расколотого острый!

визг пилы носился по задворкам
рос под козлами кавказ опилок нежных
чувство голода граничило с восторгом
на потусторонних зарубежных
на таких заоблачных высотах
что стоял бы вечно запрокинув
голову как на счастливом фото
выцветшем от времени в витринах

Из Галереи

«Пушкин в виде Данко, освещающий путь человечеству»
Декоративное панно на центральной усадьбе колхоза им. Горького
Бригада художников-монументалистов худфонда РСФСР

о Муза! но из девяти
какая муза? я рискую
запутаться и забрести
в такую глушь во мглу такую
где лишь один экскурсовод
затеплив разум одноглазый
толпу слепую проведет
тропой мифической рассказа:
на анекдоте анекдот
чуть кустиков — и тут же ваза...
идем назад или вперед —
какая разница? все сразу

Вчера где ночевало Завтра
кладбищенский посмертный плюс
дым царскосельского ландшафта
роддом отечественных муз
какой-то славы дрын военный
лицо покойного стиха —
в его хладеющие члены
вдохнешь ли дух ВДНХ?
он выдохнет когда восстанет
что будущее — позади
мужайтесь! вещими перстами
достанет сердце из груди

и перед магниевым светом
(как бы сырой газетный лист)

дрожат озарены Поэтом
косматые лохмотья лиц
мы сложимся пословным строем
пройдем цитатой перед Ним —
и вдохновение ночное
в дыханье тысяч претворим!
прокатимся парадным валом
по сокровенным уголкам
где лицеистом небывалым
Он пел — и соловей смолкал...

Из Галереи

Совм. работа худ. Дейнеки и Самохвалова «Борис Пастернак читает рабочим Свердловского депо стихи из новой книги «Второе рождение», переживая в процессе чтения ряд чудесных, но закономерных превращений — сначала в локомотив «ИС», а затем в скакуна ахалтекинской породы»

Музей истории железнодорожного транспорта

десятки лет... но сколько слов
не сказано покрыто плесенью!
герой скуласт и узколоб
лишь ходят желваки железные
в лице. летит локомотив
локтями беспрерывно двигая.
на пастернаковский мотив
сбивается природа дикая.

встает Урал косноязык
свистит булыжником расколотым

по обе стороны враздвиг
пути за нефтью или золотом

душа добытчика чиста
омытая в лучах Всеобуча —
но вырастает высота
на скорости и с ростом дóбычи
добра подземного на свет...
и рвется слово птица редкая
сказавши «Да...» воскликнуть: «Нет!
нет, я не мерюсь пятилеткою!

она огромней моего
несовершенного строения...»
состав с углем по меловой
ползет горе. столпотворение
внизу в карьере, но едва ль
поэт приподнятый трибуною
перекричит такую даль
задымленную злую юную!

ему со счастием своим
бежать бы скрыться незамеченным...
глотая паровозный дым
в гостинице азийским вечером
дрожать и плакать над письмом
от женщины которой чудится
что статью он сравним с конем
горячим вязнущим в распутице!

Из Галереи

Худ. Федотов

Эскиз к неосуществленному полотну «Утро петербургской барыни, или Благовещение 1848 года»

Копия неизвестного автора, оригинал утрачен

слава Кесарю! слава и господу в горних!
барабанное утро. к заутрене колокол.
мышка в углу.
печь остыла. пришел истопник. выгребает
золу.
возле каждых ворот возвышается дворник
стоя спит опершись на метлу.

власть устойчиво-крепкая в позе Паллады
ей опорой копье на груди ее знак номерной
но в полярных Афинах под великопостной
весной
ломит кости. глядит из кивота Распятый.
занимается в топке обдерыш берестяной.

«Богородице-Дево...» — начнет и запнется.
и девку сенную
кличет (ах какая досада нейдет на язык
Божье слово...): Палашка! потоками пяток
босых
затопляет людскую переднюю (как я
тоскую
по утрам ты бы знала пока не затих

гул таинственный в сердце остаток ночного
озноба...)

человек состоит из предчувствий и смертных
глубин —
то ли Гоголь об этом писал, то ли сказывал
старец один
возвратясь на покой от Господнего Гроба
голубиный свой век ореолом венчая
златым...

одеваться, Палашка! в соборе поди уже
служат...
Благовещенье нынче. за шторами льдины
шуршат.
сон я видела сон треугольный: ограда
родительский сад
но глубоко внизу будто в яме — а рвется
наружу:

как достать бы его? Как на землю
поставить назад?

я бессильная в белом стою на коленях
наклоняюсь над ямой и слышу: из глубины
«Марья Марья» — зовут... и деревья уже
не видны
то ли мокрая глина внизу то ли вроде
сапожного клея
что-то вязкое... дышит... я в ужасе.
погружены

руки словно бы в тесто и тесто вспухает
в утесненье душевном проснулась — лежу-то
я где?
на булыжнике улочном! голая... в холоде
и срамоте.

надо мной наклоняется дворник железной
метлой помавает
«мусор барыня...» — плачет и слезы
в его бороде.

«мусор! мусор!» — бормочет меня как
бумажку сметая
шелестя просыпаюсь: неужто я смята
в комок?
и зачем это снится? и холод бегущий
от ног
отчего-то врывается в сердце ордою Мамая
морем валенок бурок сапог.

как там душно внутри меня — как
надышали!
Пелагея смотрю на тебя — и темно:
ты по русски «морская» — что имя?
звучанье одно
а смотрю на тебя — в океанские страшные
дали
погружаюсь тону опускаюсь на дно

СОДЕРЖАНИЕ

III. ДНИ И ДЕТИ

IV. БЕЗ НАЗВАНИЯ

Кривулин В.

К82 Обращение: Стихи. — Л.: Сов. писатель, 1990. — 64 с.

ISBN 5-265-01283-4

Стихи ленинградского поэта В. Кривулина — это попытка сказать об угрозе (экологической, военной), нависшей над человеческим бытием, но сказать так, чтобы читатель почувствовал, что сам поэтический язык есть в какой-то степени жертва неблагополучной культурно-экологической ситуации.

К $\frac{4702010202—380}{083(02)—90}$ 220—90 ББК 84. Р7

Виктор Борисович КРИВУЛИН

Обращение

Редакторы В. С. Шалыт и М. В. Гоппе. Худож. редактор М. Е. Новиков. Техн. редакторы Ю. А. Дианова и Е. Б. Спрукт. Корректор Ф. Н. Аврунина.

ИБ № 7321

Сдано в набор 08.05.89. Подписано к печати 10.11.89. М-21312. Формат 70×90¹/₃₂. Бумага бланочная. Литературная гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. л. 2,34. Уч.-изд. л. 2,20. Тираж 5700 экз. Зак. № 737. Цена 25 коп.

Ордена Дружбы народов издательство «Советский писатель». Ленинградское отделение. 191104, Ленинград, Литейный пр., 36

ПО-3 Ленуприздата. 191104, Ленинград, Литейный пр., 55.

25 к.

